

жет своим авторитетным словом подтвердить ведущую роль ЛЕФа в новом, революционном искусстве и осадить староверов или халтурщиков, строчащих «похвальные листы» друг другу.

Словом, Блок понимает разницу между собой и Горьким, понимает (судя по его высказываниям) во многом верно, кое-чего осознанно не приемлет. Маяковский же судит о Горьком с гораздо меньшим пониманием, поэтому склонен видеть это различие и там, где его вовсе нет, например в революционности. Однако оба разными словами и в разное время высказывают готовность предстать перед судом Горького. Говоря о Блоке как учителе Маяковского, говоря о Маяковском в соотношении с классическими традициями, это обстоятельство надо учитывать непременно.

В последнем случае, думается, источник различия и недопонимания коренится в том, что реальная действительность, в эстетические отношения с которой входили старший и младший художники (которую они, как мы привычно говорим, «отображали»), была различной по своим измерениям. Жизнь безгранична, неисчерпаема по своему содержанию, и даже для самого большого художника действительность предстает неким сектором, довольно узким относительно неведомой и неосвоенной им всей современности жизни. Тем не менее широта и полнота освоения и воссоздания Горьким русской жизни, включая глубинные слои народного быта, в доказательствах не нуждаются; они порождены той «переполненностью» «впечатлениями бытия», подобную которой сам Горький находил у Пушкина⁵. Маяковский же был настолько торопливо-целеустремленным, что для него действительность практически (т. е. в сфере художественного интереса) исчерпывалась некоторыми — исключительно важными, но именно некоторыми своими сторонами.

Воспевая революционную эпоху, Маяковский последовательно и упрямо третирует «историю» — в разном значении этого понятия. Да, в поэме о Ленине в ряду ярких развернутых метафор он смело воспроизвел рост классового сознания и борьбы пролетариата — очень условно, конечно, но очень впечатляюще. Однако можно привести немало различных суждений поэта в стихах и прозе об истории, прошлом и вообще о «старье», различных по вариациям основного мотива пренебрежения. Зато — и это главное — Маяковский с неослабным (я бы сказал фанатическим, если бы это слово не было так неприятно окрашено) упорством стремится провидеть будущее, «вбежать по строчке в изумительную жизнь» (4, 181), основанную на «едином человечьем общежитье» (7, 164), на всеобщей «любви», что идет «всей вселенной» (4, 184). По сравнению с таким абсолютно устроенным и счастливым будущим наше настоящее видится очень еще несовершенным: вспомни, что «окаменевшим дерьмом» (в подлиннике — еще резче) названо не прошлое в свете настоящего, а существенные стороны этого настоящего, не устраивающие поэта, в ослепляющем (или — по Маяковскому — «фосфорическом») свете будущего.

С первых шагов («Маяковский век» в «Человеке») до последних («век, истории, мирозданию» во втором вступлении к поэме о пятилетке) все в поэзии Маяковского нацелено на наше завтра, адресовано ему и оценивается им. Однако такое будущее, ожидаемое в своем безусловном величии, не может быть, строго говоря, предметом конкретно-эстетического освоения. Поэт интуитивно верно чувствует общую логику исторического процесса; это он особенно уверенно обнаружил в поэмах о Ленине и Октябре. Но предложенные им образные представления будущего неизбежно схематичны — и «фосфорическая женщина», и «летающий пролетарий», и совсем в шутку придуманное райское дерево, увешанное булками (в первом варианте «Мистерии — Буфф»), и серьезный образ «прорастающих» «коммуны домов»... Отсюда острота восприятия настоящего: неодолимая трудность полнокровного освоения будущего при возрастающей тяге к

⁵ Архив А. М. Горького, т. I. М., Гослитиздат, 1939, с. 104.